

18+

Павел Лисевский

ТЕМАРКАН

КОГДА ГАСНЕТ ПЛАМЯ

Темаркан

Павел Лисевский

**Темаркан. Том II:  
Когда гаснет пламя**

«Автор»

2026

## **Лисевский П.**

Темаркан. Том II: Когда гаснет пламя / П. Лисевский — «Автор»,  
2026 — (Темаркан)

Огонь свечи на пыльном чердаке погас навсегда. Вместе с ним ушло последнее тепло, удерживающее двух мальчиков на краю бездны. Для наследника великого дома и мальчишки из трущоб детство закончилось в тот миг, когда телега увезла маленькое тело под грубой тканью. Теперь их объединяет не дружба, а общая клятва. У них одна душа на двоих, и имя этой души — Мечь. Но у каждого свой метод. Путь одного — это яд холодного знания, способный разрушить систему изнутри. Путь другого — это сталь и северная стужа, смывающие боль кровью. В мире Темаркан, где зло часто носит маску добродетели, а спасители одеты в одежды палачей, им предстоит выучить самый страшный урок. Когда гаснет пламя надежды, наступает ледяная, безжалостная ясность. И в этой ясности нет места прощению.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Пролог                            | 5  |
| Глава 1. Пакт на пепле            | 7  |
| Глава 2. Пустое место             | 13 |
| Глава 3. Цена знания              | 19 |
| Глава 4. Расходящиеся решения     | 28 |
| Гл                                | 33 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 34 |

# Павел Лисевский

## Темаркан. Том II: Когда гаснет пламя

### Пролог

В летописях Темаркана пишут о великом. О Катаклизме, расколовшем само бытие. О Войнах Теней, когда обезумевшие тираны жгли города. О героях, чьи имена высечены в граните — так высоко, что снизу не разглядеть лиц.

Летописцы верят, что историю делает грохот. Летописцы ошибаются.

Истинная история мира ткётся из тишины — из той особенной тишины, что наступает, когда обрывается одна маленькая, никем не учтённая жизнь. Мир не замечает такой тишины. И не замечает, что стал после неё другим.

Под серыми сводами, среди грязи, страха и запаха карболки, жила не великая сила. Жила тихая надежда. Она не владела магией, крушащей стены, не носила доспехов и не знала древних рун. Она была всего лишь девочкой с большими, серьёзными жёлто-зелёными глазами, в которых жила золотисто-янтарная искра.

Ни одна летопись не записала бы того, что она совершила. А она совершила невозможное. В мире, где каждый выживает в одиночку, она создала семью — там, где семье не было места. Она умела слушать сказки так, словно от них зависела жизнь, а потом шёпотом пересказывала их своей чёрной кошке — единственному сокровищу, которое у неё было. На пыльном чердаке, при свете огарка свечи, она стала мостом между ледяным расчётом аристократа и звериной яростью дикаря: смягчала гордыню одного, укрощала гнев другого — и напоминала обоим то, чего не знает закон сильных. Что сила — это не только способность ударить. Это способность защитить.

Но Темаркан не прощает хрупкости.

В этом мире судьба редко бьёт открыто, глядя в глаза. Самый страшный удар не был нанесён ни вражеским клинком, ни кулаком палача. Он пришёл под маской милосердия. Смерть явилась не чёрной тенью на пороге — она вошла с чистыми руками и обещанием спасения. Предательство совершили не те, кто желал зла, а те, кто говорил: «Мы делаем это ради блага». Ложь, облачённая в белые одежды заботы, оказалась смертельнее любого яда. Так в Темаркане убивают чаще всего: не со зла — по заведённому порядку.

Огарок догорел. Серым утром со двора выкатилась телега, и под грубой тканью лежало то, что ещё вчера смеялось, штопало чужие обиды и верило в сказки со счастливым концом. Телега увезла не просто девочку. Она увезла единственное, что удерживало двух мальчиков на краю бездны, — тепло, не дававшее их сердцам окончательно окаменеть. А чёрная тень, метнувшаяся в телегу вслед за хозяйкой, стала последним штрихом: абсолютная потеря не оставляет себе свидетелей.

Теперь чердак пуст. Книги спрятаны. Сказки закончились.

Двое оставшихся стояли у окна, за которым застыл серый двор. На стекле сам собой расцвёл иней; живой цветок на подоконнике почернел и осыпался прахом. Так они узнали истину, которой не учат ни в приютах, ни в академиях: когда гаснет пламя надежды, наступает не тьма. Наступает ледяная, безжалостная ясность. В ней исчезают полутона, иллюзии — и способность прощать.

В этой ясности один разглядел яд холодного знания, чтобы стать этому миру судьёй. Другой — сталь, чтобы пустить этому миру кровь. Осталась память о тепле, которого больше никогда не будет, и урок, выжженный на двух сердцах: в мире, где зло приходит под маской спасителя, справедливость может вершить только палач.

Их выбор ещё не произнесён вслух.  
Но он уже сделан.

## Глава 1. Пакт на пепле

Телега уже не скрипела.

Она давно выкатилась за ворота, и серый двор за окном опустел, но скрип всё ещё жил у Вайрэка в ушах — застрял там, как заноза в ладони. Он стоял у высокого зарешеченного окна и не знал, сколько уже стоит. За стеклом холодный ветер «Багрянца» срывал с голых ветвей последние листья и швырял их в мокрое после ночного дождя стекло. «Багрянец» доживал последние дни, и низкое небо уже тяжело обещало «Дождестой». Правая ладонь всё ещё помнила этот холод — мокрый, ледяной, обжигающий.

Первым вернулся холод.

Не привычная утренняя зябкость Особого крыла, к которой притерпеваешься, как к серой каше, — настоящий холод, до ломоты в зубах. Дыхание выходило изо рта слабым паром и таяло в сером свете. На стекле возле койки Ирвуда лежала тонкая паутина инея — ровная, красивая и совершенно невозможная в конце такого сырого утра. Вайрэк смотрел на неё и не мог понять, откуда она взялась.

Потом он увидел горшок.

На подоконнике, в маленьком глиняном горшке, где ещё утром упрямо зеленел единственный на всю комнату живой цветок, не осталось даже стебля. Только земля и горстка праха — сухого, лёгкого, чёрного, как сажа. Вайрэк точно помнил: утром, пока он мерил шагами комнату и ждал, цветок был жив. Он прошёл мимо него не меньше сотни раз. Когда он успел умереть? Между телегой и этой минутой не было ничего — ни дня, ни ночи. Только десять минут серого утра.

Он не нашёл ответа. Внутри было слишком тихо и слишком холодно, чтобы искать.

Ещё вчера он бы стал разбираться. Разложил бы всё по полочкам, как учил отец, как сам раскладывал на кусках мешковины: вот вопрос, вот что известно, вот что сходится. Сейчас полочек не было. Была телега, которой больше не слышно, и горстка чёрного праха там, где вчера было живое.

На своей койке в углу — одной из двух, что стояли друг напротив друга у боковых стен, — комком, под тонким серым одеялом, лежал Лео. Он не спал — слышно было, как он дышит: часто и мелко, как пойманный зверёк.

Из-под края одеяла блеснул один глаз — и смотрел этот глаз не на Вайрэка и не на дверь. Он не отрывался от Ирвуда.

Ирвуд сидел на своей койке не шевелясь. На его ладонях темнели полумесяцы запёкшейся крови — там, где ногти прошли кожу насквозь. Он её не стирал. Кажется, он про неё просто не знал.

А потом Ирвуд встал.

Движение было простым и очень спокойным — и именно от этого спокойствия у Вайрэка похолодело в затылке. Рука Ирвуда сама скользнула за пояс, под простую серую рубаху, — туда, где всегда жил его обломок ножа. В сером свете тускло блеснул заточенный кусок старого клинка без рукояти, сто раз правленный о камень и о край кровати. Ирвуд сжал его в кулаке — привычно, как берут ложку, — и пошёл к двери.

Вайрэк понял всё сразу. Не умом — умом он не успел ничего, — телом. Тело оттолкнулось от подоконника и встало между Ирвудом и дверью раньше, чем в голове появилось хоть одно слово.

— Отойди, — сказал Ирвуд.

Голос был ровный. Хуже всего, что ровный: со злостью Вайрэк умел разговаривать — злость можно переждать, как грозу. С этой ровностью разговаривать было не о чем. Она уже всё решила.

— Куда ты собрался? — спросил Вайрэк, хотя знал ответ.

— К нему.

— Ирвуд...

— Отойди.

Вайрэк не отошёл. Сердце колотилось где-то в горле, но спина выпрямилась сама — старая выучка Дома Алари, вбитая глубже страха.

— Подумай, — быстро сказал он. — Ты пройдёшь наш коридор и упрёшься в дубовую дверь. Она заперта, ключ от неё отдельный, и он у Брока. И снаружи у неё всегда стоит надзиратель. Допустим, ты и его прошёл. Дальше — прямой коридор до самого его кабинета. А у кабинета — караульная. Тебя возьмут раньше, чем ты добежишь.

— Не остановят.

— У тебя обломок ножа. У них ивовые прутья. У Брока дубинка и сапоги, подбитые железом. Их много.

— Мне хватит.

— Чего хватит?

— Одного раза.

Он сказал это так просто, что Вайрэк на секунду забыл, как дышать. В плане Ирвуда не было «потом». В нём было только дойти и ударить.

— Тебя убьют, — сказал Вайрэк.

— Пусть.

Ирвуд шагнул вперёд и взял его за плечо. Не ударил — просто отодвинул, как отодвигают стул. В этом движении было столько спокойной силы, что Вайрэк отлетел бы к стене, не ухватись он за спинку кровати. Он выровнялся и снова встал у двери. Колени дрожали.

— Ещё раз, — тихо сказал Ирвуд, — и я пойду через тебя.

Он не пугал. Улица не пугает — улица предупреждает один раз. Вайрэк знал: Ирвуд сильнее, быстрее и сейчас почти не владеет собой. И всё равно стоял. Он не смог бы объяснить это словами — знал только, что если сейчас отойдёт, то это утро заберёт у него и Ирвуда тоже.

Он лихорадочно искал слова. Правильных не было. Его учили говорить с лордами, с наставниками, со слугами — с кем угодно, кроме мальчишки с обломком ножа, которому больше нечего терять. Отец говорил: у каждого человека есть дверь, надо только найти ручку. У Ирвуда сейчас не было двери. Была стена — и стена шла напролом. Вайрэк успел подумать — коротко и трезво, где-то на самом дне: *«Он же меня ломает и не заметит»*. И всё равно не сдвинулся с места.

И тут в ушах у него тонко зазвенело.

Звуки отступили — дыхание Лео, собственное сердце, далёкий гул приюта — всё ушло куда-то за стеклянную стену. В голове стало пусто, холодно и очень ясно. И в этой звенящей ясности мысль сложилась сама — ровная, законченная, будто он готовил её всю ночь. Вайрэк даже не удивился. Он был уверен, что просто наконец додумался.

— Убьёшь сейчас — умрёшь сам, а он, может, выживет. Нам нужно, чтобы он мучился. И чтобы мы выжили.

Ирвуд остановился.

Слова попали не в совесть — Вайрэк и не целился в совесть: до неё сейчас было не докричаться. Он целился в то, что улица вбивает раньше совести: цена и добыча. Умереть — ладно. Умереть задаром — глупо.

— Выживет? — глухо переспросил он.

— Ножом надо уметь, — сказал Вайрэк. Слова шли легко, как по льду. — Один удар, в спешке, через одежду. Его откачают. У него лекари. У него охрана. А тебя заберут прямо в коридоре. И знаешь, что будет потом? Он даже не узнает, за что ты его. Запишет в свои бумаги: «воспитанник сошёл с ума» — и будет жить дальше.



Лезвие в руке Ирвуда чуть опустилось.

— А ты чего хочешь? — спросил он. — Простить?

— Нет.

Это «нет» вышло у Вайрэка таким, что Лео под одеялом сжался ещё сильнее.

И тут силы кончились у обоих — сразу, одновременно, как гаснет огарок, когда воска больше нет.

Наступила тишина. Настоящая: слышно было, как мелко, со всхлипом, дышит под одеялом Лео; как скрипнула под ним кровать; как где-то далеко в коридоре простучали и стихли сапоги.

— Она... — начал Вайрэк и не смог.

Имя не выговаривалось. Оно было маленькое, всего два слога, и оба застревали в горле, как кость. Он попробовал ещё раз:

— Лэ... Лэя...

Вторая половина имени вышла шёпотом.

Ирвуд отвернулся. Резко, всем корпусом, лицом к стене. Его плечи были неподвижны — слишком неподвижны, так не бывает у живых плеч. Он не издал ни звука.

У Вайрэка в голове осталась картинка, совсем простая: Лэя гладит Ночку и улыбается — не губами, одними глазами. Он смотрел на эту картинку изнутри, пока она не стала невыносимой. Потом пришла другая: Лэя у двери, считает одними губами — «три, два, один», — и дверь за стеной скрипит точно по её счёту, и она оборачивается — страшно довольная собой. Никто и никогда больше не будет так считать шаги надзирателей.

Вайрэк вдруг понял, чего ещё не хватает этому утру.

Ночки.

Он поймал себя на том, что ждёт: вот сейчас за решёткой мелькнёт угольно-чёрная тень, блеснут зелёные глаза — и станет хоть на волос легче. Ночка всегда появлялась бесшумно, из ниоткуда, будто умела проходить сквозь стены. И всегда находила Лэю. К ней — всегда.

Он поискал глазами чёрную тень — на мокрой вершине стены, окружавшей приют, где Ночка могла сидеть часами, у стены лазарета, на карнизе прачечной. Нигде. Двор был пуст, и стена была пуста, и серое небо над крышей — и то было пустым.

«Кошки понимают раньше людей», — сложились в голове мысль, простая и холодная. Ночка не пришла попрощаться. Или попрощалась так, что этого никто не увидел.

За дубовой дверью крыла глухо жил приют: где-то далеко хлопнула дверь, прошаркали и стихли чьи-то ноги. Миру за дверью не было до них никакого дела.

На несколько долгих мгновений в комнате не осталось ни мести, ни планов, ни справедливости. Были просто двое детей в холодной комнате, у которых умер близкий человек. И ни один из них не умел этого вынести — потому что этому нельзя научиться ни на улице, ни в Великом Доме.

Вайрэк вдруг подумал, что надо было сказать ей что-нибудь там, в лазарете. Он готовил слова, пока их вели, — правильные, красивые слова, каким учат в Великих Домах. А потом увидел её лицо, белое и маленькое, совсем уже не её, — и все слова кончились. Он коснулся её щеки, и рука отдёргнулась сама: это был не холод мёртвого тела, а лёд — звенящий и почему-то полный. Ноги подлומились, и остаток отведённого времени он простоял на коленях у койки, упираясь ладонями в каменный пол, и не сказал ни слова. «Она бы посмеялась», — подумал он, и от этой мысли в груди что-то разъехалось, как лёд под ногой.

Первым заговорил Ирвуд. Не поворачиваясь.

— Говори свой способ.

Вайрэк оторвался от двери. Горло всё ещё сжимало, но голова работала — холодно и чётко, как его угольные строчки формул на мешковине.

— Яд, — сказал он.

Ирвуд медленно повернулся.

— Он травил нас всех, — Вайрэк говорил медленно, выкладывая слова, как камни на весы. — Гнилым зерном. Из жадности. Ему было всё равно, кто из нас не встанет. Не встала — она. А когда её ещё можно было спасти, он сидел над своими списками и сверял печати. — Вайрэк перевёл дыхание. — Он умрёт так же, как умирала она. И будет знать, от чего.

Остальное он договорил про себя, в той же звенящей ясности: *«Его яд родился из жадности. Наш родится из знания»*.

— Ты не умеешь, — сказал Ирвуд. Это не было возражением. Это была проверка.

— Научусь. Я варил противоядие для всего приюта — вместе с другими учениками, под его рукой. Никто не удивится, если я спрошу про травы и про составы. И лаборатория здесь же, в крыле. За дубовую дверь выходить не надо.

— У кого научишься?

— У Наставника Линуса.

Ирвуд скривился, и Вайрэк поднял ладонь, не давая перебить:

— Он не успел её спасти. И он это знает. Теперь он будет смотреть на нас и видеть её. Он не откажет. Не сможет. Пустит меня к книгам. К котлам. Ко всему, что нам нужно.

— А если он поймёт? — спросил Ирвуд. — Он не дурак.

— Он увидит лучшего ученика, который прячет горе в учёбу, — сказал Вайрэк. — Взрослым так спокойнее. Он сам себе это объяснит. Мне даже врать не придётся.

— Долго, — сказал Ирвуд.

— Да. Долго.

— Сколько?

— Не знаю. Столько, сколько нужно, чтобы наверняка. — Вайрэк сглотнул и загнул палец, потом второй, потом третий. — Нам надо узнать три вещи. Чем его убить, чтобы наверняка. Как сделать, чтобы он понял, что умирает. И чтобы никто не подумал на нас. Если нас поймают — всё было зря. Мы должны выжить. Не потому что страшно. Потому что по-другому не получится.

Ирвуд долго молчал. Снаружи, где-то во дворе, хлопнула дверь, и оба вздрогнули, как от удара.

— Если ждать, — сказал он наконец, — он её забудет. Совсем.

— Пусть забудет, — сказал Вайрэк, и собственный голос показался ему чужим. — Тем страшнее будет, когда мы напомним.

Ирвуд смотрел на него не мигая, и Вайрэк заставил себя договорить до конца:

— И с этого дня мы — самые обычные. Пробьёт колокол — пойдёшь и будешь есть. Я пойду и буду есть. На занятиях я отвечаю Линусу, как всегда. Ты молчишь, как всегда. Никто не должен увидеть, что мы что-то решили. Ни Брок, ни Феодор. Никто.

— Я не умею притворяться, — сказал Ирвуд.

— Умеешь. Ты всё время молчишь. Просто молчи дальше.

Ирвуд молчал долго — видно было, как он ворочает эту мысль, тяжело, как камень. Потом коротко кивнул.

Потом его взгляд медленно, как стрелка весов, поехал в угол — туда, где под серым одеялом лежал неподвижный комок.

— А он? — спросил Ирвуд, не понижая голоса.

Комок замер совсем. Кажется, даже дышать перестал.

— Лео — не враг, — сказал Вайрэк.

— Лео — рот, — сказал Ирвуд. — Рты болтают.

— Он боится.

— Вот именно.

— Боятся — молчат. Крепче всех молчат те, кто боится. — Вайрэк посмотрел в угол и добавил тише: — И потом... он её тоже любил.

Ирвуд ещё секунду смотрел на одеяло — тяжело, оценивающе, как смотрят на дверь, которую нечем запереть. Потом отвернулся.

— Твоя забота, — сказал он. — Твой рот — тебе и стеречь.

Что-то дрогнуло в лице Ирвуда. Он посмотрел на Вайрэка долгим, цепким взглядом — так на улице смотрят на того, кого только что перестали считать чужаком.

— Поклянись, — сказал он.

— Что?

— Поклянись, что не передумаешь. Ты умный. Умные остывают.

— Не остыну.

— Поклянись.

Вайрэк открыл рот, чтобы сказать «словом Алари», — и не сказал. Слово Алари он уже давал — сегодня, в кабинете, за её жизнь. Оно не помогло.

— Чем клясться? — спросил он.

— Не знаю. Чем не врут.

— Клянусь памятью о Лэе, — сказал Вайрэк.

Ирвуд коротко кивнул — так, будто именно этого и ждал. Потом переложил лезвие в левую руку, а правую протянул вперёд — ладонью вверх, с тёмными полумесяцами засохшей крови.

— Твоё дело — яд, — сказал он. — Моё — всё остальное. Достать. Спрятать. Прикрыть тебя, если что. Феодор — общий. Идёт?

— Идёт, — сказал Вайрэк и положил свою ладонь сверху. Ладонь Ирвуда была горячая и шершавая, его собственная — ледяная. Получилось совсем не так, как в книгах про рыцарей, — неловко, по-детски, страшно. И всерьёз.

— А если ты передумаешь? — спросил вдруг Вайрэк.

— Я? — Ирвуд усмехнулся одним углом рта, и от этой усмешки в комнате не стало теплее. — Я не умею передумывать.

Он сунул обломок ножа обратно за пояс, под рубаху, — туда, где тот жил всегда. Но не лёг — сел на свою койку у окна, спиной к стене, лицом к двери, как сторож.

Вайрэк вернулся к окну. На тумбе так и лежали куски грубой мешковины, исписанные угольком, — его формулы, которые никого не спасли. Двор был пуст, ворота закрыты, и только две грязные колеи уходили от лазарета в серую муть. За коридором, напротив их двери, была её комната. Там оставалась её соседка, которая теперь будет спать там одна. От этой мысли становилось ещё хуже. Вещи переживают людей. Это было неправильно устроено, и с этим тоже ничего нельзя было сделать. Он поймал себя на том, что смотрит не во двор, а на горшок. Чёрный прах лежал неподвижно, и от него почему-то трудно было отвести глаза. Звон в ушах медленно, нехотя стихал; вместе с ним уходила и ледяная ясность, оставляя после себя только холод и странную, ничем не заполненную тишину. Иней на стекле у койки Ирвуда уже таял — сползал мокрыми дорожками вниз, как слёзы, которых этим утром так ни у кого и не нашлось.

Потом он лёг на свою койку — поверх одеяла, не разуваясь — и стал смотреть в потолок. Спать не хотелось. Хотелось, чтобы поскорее стало завтра. Завтра, после занятий, он подойдёт к Наставнику Линусу и спросит что-нибудь простое и безобидное. Про сонные отвары, например: от горя ведь плохо спят, а взрослые любят горе, которое можно лечить по книге. Первый шаг был готов, и от этой готовности внутри не было ни тепла, ни страха — вообще ничего. *«Вот, значит, как это делается»*, — подумал он словно со стороны и сам не понял, про что подумал: про яд, про враньё или про то, как теперь живут.

А Лео видел всё.

Он понял из услышанного едва ли половину, но одно понял точно: они не передумали. Они просто перестали говорить об этом вслух. Взрослые в такие минуты кричат. Эти двое замолчали — и от их молчания в комнате стало ещё холоднее.

Одно он слышал так ясно, будто это прокричали ему в самое ухо: «Лео — рот. Рты болтают». Он лежал и изо всех сил старался показать, что никакого рта у него нет. И ушей нет. И самого его, может быть, тоже нет.

*«Я никому. Я же никому. Я никогда никому»*, — повторял он про себя, как считалку. Считалка не помогала.

Он попробовал подумать про цветок. Он же видел... что-то видел. Чёрное. Рассыпалось. Надо было вспомнить, надо было кому-нибудь сказать — но мысль не держалась в голове, как вода в горсти. Он тянулся к ней — а она обрывалась, как гнилая нитка, и взгляд сам собой съезжал в сторону — туда, где, привалившись к стене, сидел Ирвуд и не мигая смотрел на дверь. Про Ирвуда думалось легко. Про Ирвуда думалось само.

Лео натянул одеяло до самых глаз.

Страх был огромный — больше Лео, больше комнаты. Не надзирателей с их ивовыми прутьями он боялся, не Главного Смотрителя с его блёклыми глазами, не смерти, которая сегодня побывала в приюте. Из всего, что случилось этим страшным утром, — из смерти, телеги, инея и чёрного праха — страшнее всего был он: молчащий мальчик у стены, который сторожит дверь. Откуда этот страх такой — Лео не знал.

Он просто боялся его больше всех.

## Глава 2. Пустое место

Полуденный свет из высокого окна лежал на столе длинной белёсой полосой и не грел.

Ирвуд сидел на своём месте — предпоследнем от дальней стены. От камня за спиной временами наплывал лёгкий холод — едва заметный, той особой сыростью, какой камень пропитывается насквозь, когда «Багрянец» уступает «Дождестюю».

Справа от него было пусто.

Не убрано, не занято кем-то другим — просто пусто. Доска скамьи тут была такая же гладкая и залоснившаяся, как везде, — и никого на ней. Дюжина детей ела, ложки стучали о миски, кто-то шумно тянул отвар, кто-то шаркал ботинком по каменному полу, и весь этот обычный шум обтекал пустое место, как вода обтекает камень.

Напротив, через стол, сидел Вайрэк. Он ел ровно, не торопясь, как всегда, — так, будто над ним стоял кто-то, кто считает каждое его движение. Рядом с Вайрэком, у самой стены, ковырялся в еде Лео и не поднимал головы.

Еда была горячая и сытная — в Особом крыле кормили лучше, чем там, откуда их сюда привели. Раньше он этому радовался. Сегодня он просто двигал ложкой. Хлеб застревал в горле, будто был не мягким, а сухой щепкой.

*«Пробьёт колокол — пойдёшь и будешь есть»,* — сказал утром Вайрэк. Ирвуд ел.

У двери один надзиратель что-то сказал другому вполголоса — не для детей, но в маленькой комнате всё слышно.

— ...к вечеру телега вернётся, куда она денется, — сказал тот, что стоял ближе к торцу стола. — До Храма и обратно — полдня ходу. Завтра под репу пойдёт.

— Примут хоть?

— Примут, как всегда. Служка запишет строчку, помашет над свёртком — и нет девочки. Одной сдохшей крысой в крыле меньше.

Ложка Ирвуда остановилась.

Он не решил ничего. Тело решило само: подалось вперёд, ноги подобрались под скамью, ладонь легла на край стола. В груди ударило горячо и сразу, как в драке, когда уже поздно думать и надо только бить первым. Он видел одно — плоское, скучающее лицо у двери, рот, который это сказал и уже забыл, что сказал.

Между ним и этим ртом лежал весь стол. Дюжина голов, миски, скамья, узкий проход у стены. Надо было встать, вылезть, пройти — долго. Улица научила Ирвуда, что долго — значит никак.

Он всё равно начал вставать.

*«Соврали. Никакой хвори не было. Свезли, сдали, как мусор. Даже имени не сказали. Простодохлая крыса. За такое платят кровью...»*

И тут он наткнулся на взгляд Вайрэка.

Тот не сказал ни слова. Не мотнул головой, не поднял руки — ничего, что заметили бы взрослые. Он просто смотрел прямо в глаза Ирвуду через стол и не отпускал, и в этом взгляде было вчерашнее: горячая шершавая ладонь, чужая холодная сверху, обломок ножа, переложенный в левую руку.

*«Умереть — ладно. Умереть задаром — глупо».*

Ирвуд опустил обратно. Медленно. Скамья под ним даже не скрипнула.

Он взял ложку и заставил себя проглотить то, что было во рту. Проглотилось тяжело, комом, до боли в горле. В ушах стучало. Он смотрел в миску и считал стук — так же тупо и упрямо, как считал когда-то шаги патруля по улице.

Никто ничего не заметил. Надзиратель у двери переступил с ноги на ногу и заговорил о чём-то своём: про мешки, про кухню, про то, что бельё опять повезут в конце седмицы.

«Ты заплатишь. Не сегодня», — подумал Ирвуд. Раньше у него не было «не сегодня». Раньше было только «сейчас» — ударить первым, пока не ударили тебя. Это Вайрэк научил его ждать.

Пустое место справа он так и не тронул. Даже локтем.

Остаток дня прошёл так, как проходят все дни в крыле, — и это было хуже всего.

Их развели по обычному распорядку, потом собрали снова, потом колокол снова пробил виток — и снова еда, и Ирвуд ел. Он молчал — молчать было легко, Вайрэк не соврал. Он делал всё, что говорили, ровно так, как делал всегда: не быстрее и не медленнее. Дважды мимо проходили надзиратели, и оба раза он смотрел в пол, а не на них.

Никто не спросил, где Лэя. Никто в крыле про неё больше не заговорил.

Вечером во дворе, за стеной крыла, простучали колёса и заскрипело дерево: телега вернулась от Храма и встала на своё место у хозяйственных ворот — пустая, готовая к завтрашнему. Ирвуд услышал это через окно коридора и не остановился. Он только сжал зубы.

«Завтра репу повезёт».

В комнате Лео забрался под одеяло, не раздеваясь. Вайрэк лёг на спину и долго не шевелился, и Ирвуд знал, что он не спит: у спящего дыхание другое. Сам он сел, как вчера, — спиной к стене, лицом к двери.

Ночь тянулась и не кончалась. За стеклом шёл дождь — «Багрянец» доживал последнее, — и вода шла по стеклу мелкими дорожками. Ирвуд смотрел на дверь и думал о Феодоре — о человеке, из-за которого Лэя лежит теперь в чужой земле. Где-то в другом крыле он спал сейчас спокойно, не зная и не боясь.

Он не заметил, как посерело окно.

Утром всё шло своим порядком: подъём, умывальник, стол. Мисок на нём стояло ровно по числу детей — лишнюю не поставили, посчитали заранее.

Сегодня Ирвуд съел всё, до дна. Вкуса он не почувствовал, но голодным на занятие идти нельзя — это он знал ещё с улицы.

Дверь тренировочного зала была обита железом и открывалась тяжело.

Внутри всегда было одинаково: высокие гладкие стены из чёрного камня, который съедал свет и не отдавал ничего обратно, каменный пол, под потолком — один магический фонарь. Его белый ровный свет падал сверху и делал тени короткими и жёсткими. Справа от двери, у длинной стены, стоял переносной стол и стул; Каэлан на него не садился никогда.

По утрам здесь занимались одним из двух: либо проводимостью — работой с камнем, чтобы русло внутри делалось шире и держало ровнее, — либо простым спаррингом, без всякого дара: стойка, захват, падение, подъём. Ничего другого в зале не показывали — ни плетений, ни зелий, ни настоящей магии. Дар здесь только прочищали, а тело приучали держать удар; всему прочему учили после, в Академии, — тех, кто до неё доходил.

Дети расселись на полу одним широким рядом посреди зала, лицом к дальней стене. Перед каждым лежал простой серый камень.

Ирвуд сел на своё место. Справа от него, там, где на полу тоже лежал камень, никого не было. Дальше, за пустым местом, сидел Вайрэк, за ним — Лео.

Каэлан прошёл вдоль ряда и встал у дальней стены, откуда ему было видно всех сразу.

— Как всегда, — сказал он ровно, без выражения. — Найдите поток. Проведите его через камень. Ровно. Камень должен остаться цел.

Ирвуд положил ладони на колени и закрыл глаза.

Он умел это. Он делал это столько раз, что уже не помнил первого. Сила не сидела в нём и не копилась — это Каэлан вбил в него в первый же период и повторял до сих пор: в тебе нет ничего, ты — только русло. Открыться. Поймать снаружи ровное течение, которое есть везде и всегда. Пропустить его через себя в камень, ровно столько, сколько проходит, и ни капли больше. Дышать. Вести.

Он вдохнул и открылся. Поток пришёл снаружи — из воздуха, из чёрного камня под коленями, из-за стен, отовсюду — и пошёл сквозь него к рукам, знакомо и послушно, тонкой ровной струйкой. Ирвуд накрыл камень ладонями.

Камень отозвался сразу. Он загудел под ладонями низко, на самом дне слуха, будто его медленно сжимали в огромном кулаке. Так гудел весь ряд — дюжина камней, каждый на свой лад; по этому гулу Каэлан и слышал их всех, не глядя: у кого ровно, у кого рвано, у кого пусто.

А потом серая шершавая поверхность под его ладонями начала сесть — от краёв к середине, тонко и ровно.

Такого не было ни у кого. Через два места от него у Лео камень к этому времени всегда отпотевал и делался тёплым, как свежая горбушка. У девочки с краю он гудел и оставался серым.

В самый первый период Ирвуд об этом спросил. Каэлан провёл ладонью над его камнем, сбил иней на пол и сказал:

— Поток один на всех. Остальное — ты. Веди дальше.

Больше он не спрашивал.

Получалось.

Рядом, справа, кто-то должен был сейчас пыхтеть и шептать себе под нос, чтобы не сбиться. Лэя всегда шептала. Она злилась на это и не могла перестать.

Тишина справа была громче фонаря.

Ирвуд сжал зубы. Поток дрогнул. Иней на камне пошёл рвано — с одной стороны толще, с другой пусто.

«Держи», — сказал он себе.

Он подтянул поток обратно, выровнял, повёл дальше. Дышал, как учили: вдох, ведёшь, выдох. И вместе с дыханием откуда-то поднялось то, что он держал со вчерашнего утра, всю ночь, весь этот длинный пустой день. Белое маленькое лицо. Колёса за стеной. Скучающий рот у двери. Одной крысой меньше. Завтра репу повезёт.

Холод хлынул сам.

Мир будто увидел, что русло открыто шире, чем надо, и пошёл в него весь разом — не струйкой, а всей рекой. Ирвуд рванулся закрыться, зажать, перекрыть — и не смог: зажимать было нечего, это шло не из него, а сквозь него. Через плечи, через горло, через руки. Ладони пробило до кости. Гул под ними взлетел и сорвался, иней рванул по камню сразу во все стороны — и не остановился на нём.

Слева от него кто-то вскрикнул и отшатнулся.

Он услышал, как рядом поднялся Вайрэк — быстро, через пустое место, — и почти сразу пальцы сомкнулись у него на плече, сзади. Крепко, всей пятернёй, как хватают падающего.

— Ирвуд...

Серый камень под его ладонями перестал быть камнем. Он налился мутным стеклянным блеском, пошёл глубокой белой сетью трещин — и загудел совсем не так, как в начале занятия. Не как сжимаемый камень. Низко и тягуче, как гудит речной лёд перед тем, как треснуть.

Этот гул Ирвуд уже слышал.

В чулане городской стражи, когда он на мгновение провалился в забытье и оказался на бескрайнем снежном поле под низким серым небом, где не было ни души и пахло снегом и сосновой смолой. Гул шёл тогда откуда-то из-под льда — ровный и глубокий, как дыхание чего-то огромного и спящего. Теперь оно дышало у него под ладонями.

И проснулось.

Холод ушёл от него волной — низко, у самого пола, — и всё, чего касался, седело: плиты, чужие камни, подолы роб, чьи-то ладони, упёртые в камень. Дети закричали и полезли назад, отталкиваясь руками и пятками. Кого-то повело по обледеневшему полу, кто-то лез через соседа, лишь бы оказаться дальше от расходящегося круга. Ирвуд едва слышал их: сквозь него

ревел холод и забивал уши стуком собственной крови. Иней взбежал по чёрным стенам на высоту человеческого роста и пошёл выше, тонко потрескивая. Воздух загустел и стал резать горло, как на открытом морозе; дыхание дюжины детей разом сделалось видным — белые рваные клубы, которые таяли не сразу. Магический фонарь под потолком затянуло изморозью, и его ровный белый свет померк до тусклого, как у оплившей свечи. Один за другим захрустели чужие камни: трещины пошли по ним сами, без всякой руки.

А потом переохлаждённый камень в его ладонях не выдержал внутреннего напряжения и взорвался.

Звук был сухой и оглушительный, как выстрел в закрытой комнате. Камень разнесло изнутри на сотни мелких острых осколков. Ирвуд сидел, согнувшись над камнем, и взрыв выбросил осколки вверх и в стороны — поверх его склонённой спины, а не вниз, в ладони. Колючая волна прошла выше, на высоте плеча. Самого Ирвуда не задело ни одним осколком. Осколки со свистом чиркнули по обледеневшему полу, ударили в чёрные стены — и стены проглотили этот звук, не вернув ни эха. Там, где камень только что лежал, встал столб белого пара и медленно осел колючей крупой. А на полу остался круг — ровный, вымороженный в чёрном камне, шириною почти во весь зал, с кромкой такой ровной, будто его вычертили циркулем. Чёрный камень был сложен, чтобы впитывать такие выбросы без остатка — принять в себя весь удар силы и не пустить его дальше по крылу. Обычно от разряда не оставалось и следа; но в этот раз мощи оказалось больше, чем могли вобрать плиты, и то, чего камень не допил, так и осело на нём — седым, вымороженным кругом.

Звук вернулся не сразу.

Ирвуд опустил глаза и увидел кровь.

Она шла по его правому предплечью — густая, яркая, её было много. Сползала по коже вниз, к локтю, и собиралась там тяжёлой тёплой каплей.

Он ждал, когда заболит.

Не заболело.

На запястье сверху упала ещё капля. Потом ещё одна. Тёплые — почти горячие на его выстуженной коже, и это чужое тепло дошло до него раньше всего остального.

И только тут он почувствовал чужие пальцы у себя на плече — которые держали его, оказывается, всё это время.

Ирвуд повернул голову.

Вайрэк стоял у него за спиной на одном колене, согнувшись, и держал его за плечо — так, что побелели костяшки. Поперёк его кисти шла косая тёмная полоса, и кровь уходила из неё толчками — по пальцам, в рукав Ирвуда и дальше вниз, по его руке.

Ирвуд смотрел на это и не мог понять, что видит.

— Дыши, — сказал Вайрэк тихо, у самого уха. — Не сейчас. Не здесь. Они смотрят.

Ирвуд дёрнулся — не от него, а от себя. Он попробовал вывернуться из-под руки, чтобы Вайрэк её убрал, чтобы кровь перестала идти. Вайрэк держал.

— Дыши, — повторил он.

Ирвуд вдохнул. Воздух вошёл рваным куском, застрял и вышел паром. Второй вдох получился длиннее. На третьем в ушах перестало звенеть, и он услышал зал: шорох, чей-то всхлип, скрип ботинок по каменному полу — дети отползали. У девочки с краю по щеке шла тонкая красная черта, и она трогала её пальцами и смотрела на пальцы. Мальчишка на дальнем краю ряда сидел на пятках и держал руки перед собой, не зная, что с ними делать. Он примёрз ладонями к своему камню и оторвал их с кожей: на камне остались два бледных лоскута, а ладони только начинали краснеть.

Он посмотрел на свои ладони. Целые. Потом на пол перед собой. Камня там больше не было.



Под носом стало тепло и мокро. Ирвуд провёл тыльной стороной ладони и увидел на ней узкий красный след. Эта кровь была его.

«Это я».

Ему было одиннадцать, и улица давно отучила его бояться крови — чужой ли, своей ли. Но сейчас руки свело холодным, незнакомым ступором, и унять его он не мог. Внутри всё саднило и гудело, как руки после чужого слишком тяжёлого ведра, которое тащишь через весь двор. И страшно было не то, что внутри пусто, и не то, что холод никуда не делся — он и сейчас стоял вокруг, в воздухе, в стенах, в полу под коленями, и ждал, когда его снова пропустят. Страшно было другое: его собственная сила только что ударила по единственному, кто был на его стороне.

А по руке шла чужая кровь.

— Отпусти, — сказал Ирвуд. Голос сел. — У тебя... рука.

— Знаю, — сказал Вайрэк и не отпустил.

Ирвуд отвернулся. Смотреть на кисть Вайрэка было нельзя — от этого горло сжимало так, что становилось трудно дышать, а дышать было велено. Он смотрел в пол, на белую пыль, и повторял вдох-выдох, вдох-выдох, и от стыда у него горели уши.

Каэлан подошёл не сразу.

Ирвуд слышал его шаги — ровные, неспешные, от дальней стены. Каэлан шёл прямо через вымороженный круг. Сапоги хрустели по седому камню, и ни один шаг не сбился. На круг он так и не опустил глаз.

Последователь остановился перед ними и с минуту молчал. Ирвуд поднял глаза только до его сапог, потом всё-таки выше.

Каэлан смотрел не на него.

Он смотрел на руку Вайрэка, которая держала плечо, и на кровь, которая с неё шла, — и лицо у него было такое же ровное, как всегда, без злости и без жалости. Так смотрят не на детей. Так смотрят на замок, к которому наконец подошёл ключ.

— Довольно, — сказал он залу, не повышая голоса. Свободны.

Зал опустел не сразу и не тихо. Дети рванули к двери разом и сбились в проходе. Кто-то поехал ногами по седому камню и упал; его подняли за шиворот и потащили дальше. Девочка с рассечённой щекой всхлипывала на каждом шагу. Мальчишку с содранными ладонями вели под локти двое — он держал руки перед собой и уже начинал выть в голос: отходило.

Ни один камень так и не собрали.

У самого порога Лео обернулся на Ирвуда и задержался на полшага. Его вынесло в коридор вместе со всеми.

Вайрэк отпустил плечо Ирвуда только теперь.

Он сел на пятки, зажал кисть в кулаке и поднял её к плечу.

Кровь пошла медленнее.

Каэлан присел рядом, взял его за запястье и развёрнул кисть к свету.

Вайрэк не выдернул руки и согнул пальцы — сам, не дожидаясь вопроса.

Каэлан смотрел на это дольше, чем на рану.

Не отпуская запястья, он откинул клапан сумки на бедре и достал скатанный лоскут. Не глядя и с первого раза.

Лоскут был белый.

Каэлан перетянул кисть, узлом на тыльную сторону, и затянул сильнее, чем затянул бы себе ребёнка.

— К Линусу, — сказал он. — Сейчас.

Вайрэк встал и не пошёл.

Каэлан поднялся тоже и перевёл взгляд на Ирвуда. Ирвуд заставил себя не отвести глаза.

— Ночью я приду за тобой.

И всё. Ни выговора, ни вопроса, ни слова про камень.

Ирвуд сидел в пустеющем зале, под белым светом единственного фонаря, и не мог понять, что это значит. Руки всё ещё подрагивали, дыхание не выравнилось, а на предплечье медленно высыхала кровь Вайрэка.

### Глава 3. Цена знания

В коридоре было шумно. Говорили все разом и слишком громко, показывали друг другу ладони, кто-то ревел у стены, и его никто не утешал.

Поранился — иди к Целителю; так было заведено, и они шли сами.

Большая часть разошлась по спальням — целые, только перепуганные. К лаборатории свернули те, кого задело, — пятеро. Ирвуд пошёл за ними, хотя на нём не было ни царапины; Лео дёрнулся было следом, но его так трясло, что ботинки разъезжались на гладком камне. У поворота ноги не понесли его дальше: он вжался спиной в стену, переждал, пряча побелевшее лицо, и, держась за камень, побрёл к спальням. И странно: страшнее осколков, страшнее чужой крови был сам Ирвуд — не холод и не расколотый камень, а то, что теперь стояло в нём. Мысль пришла сама, тихая и ясная, будто всегда там была, и Лео принял её не задумываясь: от таких не убегают. Его собственный жалкий дар не стоил и капли той силы, что спала в Ирвуде, — и уцелеть рядом с такой силой можно было только под чьей-то рукой посильнее. Этого он боялся больше, чем ивовых прутьев надзирателей.

Навстречу попался надзиратель. Он посторонился, пропуская их, глянул на мальчишку с содранными ладонями и пошёл дальше по своим делам.

У двери лаборатории раненые сбились в кучу. Мальчишку пустили первым, без спора: он выл громче всех.

Ирвуда никто ни о чём не спросил, а там, где он шёл, разговоры стихали и снова начинались у него за спиной.

Вайрэк встал у стены, позади всех, и прижал кисть к груди. Никто не встал рядом. Ирвуд отступил в нишу напротив и встал так, чтобы его не было видно от двери.

Вой за дверью стих раньше, чем мальчишка вышел. Руки у него были замотаны по запястьям, и он нёс их перед собой, как чужие. Потом дверь открывалась и закрывалась снова и снова; выходили по одному и уходили к спальням, уже не разговаривая. Девочка прошла с тёмной полосой мази на щеке и трогала её пальцем, пока не скрылась за поворотом.

У двери становилось всё просторнее. Вайрэк не сдвинулся с места.

Последним он зашёл сам, и дверь за ним осталась приоткрытой на ладонь.

В проём был виден косой кусок комнаты: край стола, нижняя полка и сгорбленная спина Линуса.

Линус не обернулся сразу. Сквозь щель Ирвуд слышал только сухое шуршание пера по пергаменту; старик дописал строчку и лишь потом положил перо поперёк страницы, чтобы не потерять место. Руки вымыл долго, оттирая с пальцев чернила и что-то ещё, засохшее с прошлого раза, и обтёр их о полотенце на гвозде. Уже отойдя от миски, он ещё раз, будто не замечая, потёр большим пальцем кончики пальцев — там, где ничего не осталось.

— Заходи, садись, — сказал он негромко, как говорят с тем, кто и так придёт. — Давай руку, посмотрим, что там.

Вайрэк сел и положил перевязанную кисть на стол, ладонью вниз. Наставник Линус наклонился, и в дневном свете его лицо показалось совсем пергаментным — сухим, изрезанным мелкой сеткой морщин. Он стал распускать узел. Пальцы у старика были сухие, в мелких морщинках, и от них тянуло сушёными травами, но двигались они осторожно, будто он распутывал не тряпицу, а что-то живое.

Лоскут присох и снялся не сразу. Линус не рванул: смочил край водой из миски и отмачивал, пока полотно не отошло само.

Из ниши Ирвуд видел, как старик поднял снятый лоскут к свету и на миг задержал в пальцах. Края у него были обрезаны ровно, не оторваны, а полотно — тоньше всего, что водилось в крыле. Линус ничего не сказал. Только отложил его в сторону, а не бросил в ведро.

Потом он опустил кисть Вайрэка в миску и смыл засохшее — сначала с пальцев, потом с самого пореза, придерживая руку снизу, как придерживают чашку, чтобы не расплескать. Вода помутнела, порозовела. Из-под смытой корки открылся косой порез — от запястья к мизинцу, ровный и глубокий.

Вайрэк на него не смотрел. Он смотрел на край стола, где невымытым рядком стояли склянки из-под вчерашнего отвара. Лицо у него было пустое.

Из своего угла Ирвуд тоже поглядел на них. Склянок было меньше, чем детей в крыле, — вчера отвар давали не всем.

Линус проследил за его взглядом, помолчал — и об этом тоже ничего не сказал. Он потянулся к полке, снял банку — седьмую с краю, впереди всего ряда, почти пустую, — открыл и поддел лопаточкой немного мази. Мазь была светлая и густая, как топлёное сало, и от неё сразу горько потянуло по всей комнате.

— Держи ровно, — сказал он и повёл лопаточкой вдоль пореза, от запястья к мизинцу, тонким слоем, не вдавливая. — Вот так. Мазь готовая, но сырая — не напитанная. Оставить как есть — сама затянёт, за седмицу; она и без всякой магии лечит, только медленно. Но раз уж ты здесь... — старик выпрямился и посмотрел на мальчика поверх банки. — Попробуй сам. Тебе всё равно учиться, а я рядом, подскажу.

Вайрэк поднял здоровую руку и завёл ладонь над порезом — не касаясь. Закрыв глаза.

Сначала не было ничего. Потом светлая полоска мази будто набрала в себя свет — заблестела, словно вспотела, — и медленно, от середины к краям, начала темнеть.

Горечь в комнате сделалась гуще. Она дотянулась до ниши; у Ирвуда зашипало в носу и в глазах, и он прижал к лицу рукав, но не сдвинулся с места.

— Спокойно, не спеши, — сказал Линус, и в голосе не было ни приказа, ни спешки, — так уговаривают того, кто несёт полную до краёв чашу, — чтобы не расплескал. — Веди не в кожу, а в мазь. Твоё дело — дать силу, заживит она сама. Ты ей только помогаешь.

На лбу у Вайрэка выступила испарина, дышал он через раз. Тёмная мазь осела, на мгновение слабо блеснув изнутри — глубоким, тёплым зелёным светом, каким живое отзывается на дар, — пошла мелкими пузырьками и стала уходить в кожу, будто её пили — жадно, до последнего следа. Порез под ней не затянулся, нет; но кровь встала, набрякшие края опали и сошлись ближе, и вся рана словно разом постарела на несколько дней — так выглядит не свежий утренний порез, а тот, что подсыхает уже не первый день.

— Довольно, довольно, — мягко сказал старик и легонько накрыл его запястье своей ладонью, снимая руку.

Вайрэк открыл глаза и опустил руку. Она заметно дрожала.

Линус наклонился к самому порезу, повернул кисть к свету так и эдак, потом осторожно, один за другим, согнул мальчику пальцы — слушаются ли.

— Вот так, хорошо, — сказал он и впервые улыбнулся, и всё лицо у него собралось в мягкие морщины. — Теперь уже не седмицу заживать — дня три, и следа почти не останется.

Он помолчал, глядя на порез, и покачал головой.

— В этом всё наше искусство, — сказал он тихо. — Эту мазь я готовлю из трав; она и сама лечит — травами лечили ещё до Катаклизма, до всякой магии, — только медленно, за седмицу. А целитель руками не лечит, что бы о нас ни говорили. Он помогает лекарству: вкладывает в него свой дар — и оно делает за три дня то, на что травам нужно семь. Вот и вся разница между целителем и простой травницей. — Он тепло, чуть печально улыбнулся. — А силу ты ведёшь ровно, не по годам. Иной ученик годами учится направлять дар в состав, а не в кожу, и всё равно срывается, — а ты не сорвался с первого раза. Но это только начало: дар лишь открывает дверь, дальше нужно учиться.

Он взял полотно и стал бинтовать. На втором витке пальцы у него сорвались, и полотно сползло.

Линус начал заново.

Вайрэк смотрел на эти пальцы и не помогал.

— Завтра утром приходи, сменю повязку, — сказал Линус, закрепляя конец. — Не мочи её и пальцами рану не трогай. Слышишь?

— Хорошо, наставник.

Линус не отпустил руку.

Где-то в дальнем конце коридора стукнула дверь и пошли шаги. Ирвуд вжался в нишу и перестал дышать. В щель было видно, как в лаборатории дрогнуло и зазвенело стекло в дверцах закрытого шкафа — как звенело всякий раз, когда мимо кто-то шёл. Шаги прошли близко, свернули в сторону и стихли, а стекло всё звенело.

Линус дождался, пока звон сойдёт, и покачал головой — без тревоги, устало, как качают головой над давно привычным.

— Ты сегодня пятый, кто ко мне пришёл, — сказал он, не поднимая глаз. — Я вёл этот зал не один год, пока за него не взялся Каэлан, и подобное видел не раз. Когда под одной крышей собрано столько сильных детей, рано или поздно чей-нибудь дар выходит из-под управления. Поэтому стены здесь и сложены из чёрного камня: он поглощает выброс, не давая ему разойтись по крылу.

Он отпустил наконец руку и потрепал мальчика по плечу.

— Каэлан уже видел, я внесу это в отчёт, Смотрителю доложат — как положено. Бояться нечего.

Вайрэк поднял голову.

— Я и не боюсь, — сказал он.

Линус кивнул, будто другого ответа и не ждал, и повернулся к своей раскрытой книге. Вайрэк поднялся, придерживая перевязанную кисть, и пошёл к двери.

Из ниши Ирвуд видел, что разговор кончен. Он не стал ждать, пока его заметят: отлепился от стены и пошёл к спальням.

Вайрэк догнал его у спален. Кисть была перевязана аккуратно, и от повязки горько пахло.

Дверь напротив была закрыта — так же, как вчера, как позавчера. За ней раньше жила Лэя.

Ирвуд остановился перед ней просто так и вспомнил чердак: огарок свечи, тёплую шерсть Ночки под ладонью, потрёпанные «Легенды Войн Теней», карту Грозового Хребта, которую Лэя перерисовывала по памяти углём прямо на деревянной половице и вечно смазывала линии рукавом. Вспомнил, как она смеялась, когда получалось.

Вайрэк тоже смотрел на эту дверь. Никто из троих не сказал ни слова.

Потом колокол пробил Полуденный Виток, и все пошли есть.

После еды их собрали в лаборатории — переписывать руны.

Повязка мешала держать грифель.

Вайрэк переложил его в левую руку, потом всё равно вернул в правую и писал так, как полагалось. Ткань была затянута туго, как и должно быть: кисть немела от сгиба, и при каждом движении порез напоминал о себе тонкой горячей линией. Это было почти удобно. Боль держала в ясности.

В лаборатории пахло, как всегда: сушёными травами, толчёным камнем и чем-то кислым, что оставалось в воздухе после работы Линуса. Ступки, весы, ряды склянок стояли на дальнем конце стола, у стены за спиной наставника. Туда ученикам ходу не было; им доставались дощечка да грифель. Руками работал Линус сам.

Один раз вышло иначе, и этот кислый запах запомнился Вайрэку с тех пор. Тогда по крылу разом пошла болезнь: за несколько дней слегли десятки, из спален несли одного за другим, и Линус, не управляясь один, впервые подозвал учеников к самим столам. В тот раз им

дали не дощечки, а ступки. Вайрэк толоч, отмерял, по капле вливал свой дар в общий отвар, пока не заломило плечи.

И под руками у него сходилась не то, что называли вслух. Вслух это звалось общеукрепляющим эликсиром; так записали и в бумагах, и болезнь там значилась болотной хворью, и от этих слов всем было спокойнее. Но травы под пестиком складывались в иное. По составу Вайрэк видел: так не укрепляют тело — так обезвреживают любой яд, какой бы ни попал внутрь. При всех об этом молчали и Линус, и сам Вайрэк. Но Ирвуду и Лэе, у себя на чердаке, он рассказал всё как есть.

Сейчас перед ним лежал грифель, а не пестик, но пальцы всё ещё помнили ту работу лучше всякого урока.

Малые рабочие столы стояли тремя рядами, по одному человеку на стол. На каждой дощечке нужно было вывести три руны, черта за чертой, в том порядке, в каком их выводят, и пометить под каждой, что она держит. Руны были не те, какими пишут слова. Эти строят заклинание: грифель тут не пишет, а чертит схему, и стоит сбить одну черту или добавить лишнюю, как знак глохнет — пустой, мёртвый, не держит ничего.

Линус ходил между рядами, заложив руки за спину.

Вайрэк вывел первую руну и посмотрел влево.

Стол Лэи стоял в середине среднего ряда, между ним и Ирвудом. Столешница была вытерта насухо. Ни пятна, ни царапины — кто-то протёр её так же равнодушно, как протирают все столы после занятий.

«Только вчера она сидела там и вкривь нацарапала вторую руну».

Он вернулся к своей дощечке.

Класс работал плохо, и это было видно даже отсюда. Мальчишка в первом ряду вдавливал грифель в дощечку так, будто хотел продавить её насквозь. Девочка у стены ошиблась, посмотрела на испорченную дощечку и просто отложила грифель.

— А зачем, — сказал кто-то вполголоса, не поднимая головы. — Ну напишу я их ровно. Дальше-то что.

Ирвуд не писал вовсе. Он сидел прямо, смотрел в столешницу и держал грифель так, как держат нож.

Линус дошёл до конца прохода, обернулся и остановился перед рядами, у стены напротив двери.

— Отложите грифели, — сказал он.

Шуршание стихло не сразу. Наставник подождал, пока стихнет совсем. Вблизи было видно, что он плохо спал: под глазами лежали тени, кожа на скулах казалась сероватой.

— Я вижу, что вы сегодня не здесь, — сказал Линус. — И я вижу, почему. Но есть вещи, которые вам пора знать, и лучше узнать их от меня, чем из болтовни в коридоре. Кто из вас думает, что останется в этом крыле навсегда?

Никто не поднял руки. Но головы поднялись все.

— Особое крыло — это подготовка, — сказал Линус. — Не клетка. Не приговор. Подготовка к тому, чтобы поступить в Королевскую Академию Магии.

В лаборатории стало очень тихо.

— В Академию ведут четыре дороги, — продолжил наставник. — Первая — высшая знать. За таких платит семья, за них ручается Дом. Вторая — одарённый простолюдин, за которого внёс плату состоятельный Дом, взявший его под покровительство. Третья — ваша. Перспективный воспитанник единственного Городского приюта Ауриса получает направление, и обучение полностью оплачивает Корона. Четвёртая — отдельный кандидат Ордена: бесплатное обучение на общих условиях.

— А потом надо служить? — спросила девочка у стены.

— И да, и нет, — сказал Линус. — Кто выкуплен Домом, тот Дому и принадлежит: за него заплатили, и путь его решён без него. За вас платит Корона — и за приют, и за Академию разом. Бесплатно она никого не обучает, но и не закрепляет за собой навсегда: выбор у вас будет.

Он обвёл взглядом столы.

— Уйдёшь к Ордену — Короне ты уже ничего не должен. Останешься служить самой Короне — тоже: долг всё равно отработаешь службой. А если тобой заинтересуется какой-нибудь Дом или ты пожелаешь распоряжаться собой сам, тогда придётся рассчитаться. Деньгами, поручительством нового господина, чем угодно, — но в один год и за всё сразу: и за приют, и за Академию.

Он помолчал.

— Так что дорога открыта любая. Только выбирать её нужно с расчётом.

— А нас всех возьмут? — спросил мальчишка из первого ряда, и в голосе у него было столько надежды, что Вайрэку стало неловко.

Линус ответил не сразу.

— Нет, — сказал он. — Дар только открывает дверь. Войдёт в неё тот, кто работал.

Он сказал это без нажима, как говорят вещи давно известные, и именно поэтому в комнате никто не шевельнулся.

— А кто решает, кто перспективный? — спросил ещё кто-то.

— Взрослые, — сказал Линус. — По бумагам и по тому, что вы показываете на занятиях. Каждый день. Включая сегодняшние три руны.

Вайрэк слушал и складывал.

Свой путь он увидел сразу и целиком, как видят дорогу с высокого крыльца. Алари. Маг Жизни. За такими приходят сами — если только есть кому прийти. Мысль о том, что приходится больше некому, он отложил в сторону быстро и аккуратно, как откладывают горячую колбу.

Потом он посмотрел на Ирвуда.

Государственный воспитанник. Третья дорога. Направление и полная оплата Короны — для мальчишки из трущоб, у которого нет ни имени Дома, ни монеты. Вайрэк посчитал честно, как считал всегда: самородок такой силы — это возможность. Не обещание. Возможность, которую легко потерять за одно утро в тренировочном зале.

Лицо у Ирвуда осталось таким же, как в начале урока. Только грифель он теперь держал правильно и ни разу больше не посмотрел на дверь.

*«Слушает».*

А потом взгляд сам сошёл влево, на вытертый стол в середине ряда, и всё сказанное стало невыносимым.

Четыре дороги. Третья — ваша. Ещё вчера это «ваша» включало и её. Девочку, которая шептала над рунами и криво их царапала. Направление. Полная оплата. Академия. Целая жизнь впереди, о которой взрослый человек говорит вслух, стоя у стены, — на другой день после того, как её вывезли со двора на хозяйственной телеге.

Вайрэк опустил глаза на свои три руны и увидел, что третья вышла криво.

— На сегодня достаточно, — сказал Линус. — Дощечки оставьте на столах.

Лаборатория пустела быстро и шумно. Кто-то уронил стул, кто-то уже спорил в коридоре, кто бы куда поступил. Лео обернулся в дверях, но его потянули за рукав. Ирвуд вышел, не оглядываясь.

Вайрэк остался.

Он поднялся, сделал один шаг влево и встал у пустого стола.

Отсюда было видно то, чего не видно со своего места: край столешницы у самого угла был затёрт до блеска — там, где Лэя изо дня в день клала руку. Вайрэк протянул пальцы и не донёс. Перевязанная кисть дрогнула и остановилась в воздухе.

Это вышло само. Он понял это только потом.

Потому что в следующее мгновение он уже думал другое: *«Он смотрит»*.

Линус стоял у своего стола и не двигался.

И Вайрэк не убрал руку.

Он оставил её так — в воздухе, над чужой столешницей, — и позволил дыханию сбиться, и не стал выпрямлять спину. Он ничего не изобразил. Всё это было правдой: и дрожь, и то, что горло сжало, и то, что смотреть на этот угол стола было нельзя.

Правдой было и то, что он смотрел, как это действует.

Под рёбрами шевельнулось что-то похожее на стыд — и почти сразу застыло, затвердело холодным и гладким, как капля воды на морозе. *«Так надо. Лэя мертва, и слезами её не вернуть. Но если эти слёзы развяжут старику язык — я выплачу их все до единой»*. Вывод встал ровно, и места стыду в нём не осталось. И он остался стоять.

За спиной скрипнул стул.

Шаги были медленные. Линус остановился рядом — не вплотную, на расстоянии, как останавливаются возле пугливого животного, — и Вайрэк услышал, как наставник тяжело выдохнул. Одна рука у него была опущена, и большой палец сам собой, раз за разом, тёр кончики пальцев — будто стирал что-то, чего там не было.

— Вайрэк... — сказал Линус. — Если тебе нужно поговорить...

— Наставник, я всё думаю... — сказал Вайрэк. — Почему ваше лекарство не помогло? Может, та спорынья была какой-то особенной?

Линус ответил не сразу.

Он отошёл к своему столу, переставил две колбы, которые не надо было переставлять, и только потом сказал:

— Нет. Спорынья была обычная.

В лаборатории было тихо. За спиной у наставника стоял высокий запертый шкаф с трактатами и реагентами; стекло в его дверцах тускло отражало ряды пустых столов.

— Значит, дело было не в ней, — сказал Вайрэк тихо. — Значит, дело было во времени?

Линус молчал долго. Потом взял стул, поставил его у крайнего стола и сел так, чтобы глаза оказались вровень с глазами ребёнка. Вайрэк видел, как у него дрожат пальцы, как большой палец сам собой ходит по кончикам — стирая, стирая что-то невидимое, — и как он наконец прячет их, сцепив руки.

— Дело было во времени, — сказал Линус.

Дальше было легко.

Вайрэк знал это ощущение с тех пор, как научился говорить со взрослыми в отцовском доме: есть вопросы, от которых человек закрывается, а есть такие, от которых он начинает объяснять. Вторые всегда звучали как страх.

— Наставник... я боюсь, — сказал он. — Если болезнь вернётся? Я читал, что некоторые пары убивают мгновенно...

Линус потёр лицо ладонью.

— Мгновенно не убивает почти ничто, — сказал он. — И в этом вся беда, Вайрэк. Если бы убивало мгновенно, мы бы ничего не успевали и не винули себя. А мы всегда успеваем — или почти успеваем.

И он стал говорить.

Сначала — про обычную спорынью, ровно, как привык объяснять у своего стола. Сначала резь в животе. Потом судороги. Потом беспамятство, из которого добудиться всё труднее. Тот, кто не знает, что искать, примет это за болотную хворь — и упустит те самые часы, которых потом не вернуть.

— А беда не в самом яде, Вайрэк, — сказал он. — Яд мы умеем обезвредить. Беда во времени.



— Разве не любой яд можно обезвредить, наставник? — тихо спросил Вайрэк. — Вы же умеете.

— Умею. Пока не поздно. — Линус сцепил руки, чтобы унять дрожь. — У любого противоядия своё окно. Пока яд ещё в крови и не осел в теле, его можно обезвредить и вывести. Промедлил — выводить уже нечего, остаётся только сидеть рядом. То, что мы готовили тогда, — экстракт желез Топь-Глота как основа, споры Шепчущего Папоротника против судорог, желчь Илистого Сомы, чтобы вернуть силы, — обезвреживает почти любой яд. Но лишь пока окно открыто. — Он помолчал. — И запомни, Вайрэк, как это устроено. — Линус потянул к себе пустую колбу, переставил с места на место, будто она мешала, и тут же забыл про неё. — Любой сильный состав собран одинаково — что лекарство, что яд. Сначала основа. Сама она почти ничего не решает и своей силы не имеет; её дело — принять и удержать остальное, дать всему опору.

— А потом? — тихо спросил Вайрэк, не поднимая глаз от стола.

— Потом сильный, действующий реагент: вот в нём вся мощь, он и делает работу. И только потом — точный магический толчок, в свой срок и в точной мере. — Старик помолчал, потёр большим пальцем кончики других, будто проверял на них что-то. — Поэтому мастер и выбирает основу первой, с самым холодным расчётом: не за силу — своей у неё нет, — а за то, крепко ли она удержит на себе всё остальное. Перепутаешь порядок или возьмёшь плохую основу — и сильнейший реагент пропадёт впустую или обернётся во вред.

Вайрэк опустил глаза, будто это было ему больно, и не стал заполнять тишину. Он уже понял: пустоту Линус закроет сам — и закроет самым нужным.

— А от чего зависит окно? — спросил он наконец, совсем тихо. — Чтобы... если снова. Чтобы знать, сколько останется времени.

— От того, сколько яда и как быстро он расходуется, — ответил Линус, не расслышав в вопросе ничего, кроме страха. — Сама по себе спорынья слабая. Она заводится на сыром, испорченном зерне и опасна не силой, а тем, что тянет время и притворяется болезнью. Но спорынья — не мёртвый порошок, а живой грибок. А всё живое поддаётся магии Жизни.

Он поднялся, снял с полки склянку, посмотрел её на свет — и поставил обратно, так и не вспомнив, зачем брал.

— Ты сегодня сам видел это на своей руке: целитель направляет дар не в кожу, а в состав, и тот за три дня делает работу семи. Здесь то же самое, только обращённое во вред. Живую культуру спор — обязательно живую, со свежего зерна — насыщают магией Жизни понемногу, точными долями. Сама спора здесь просто основа, носитель; вся сила в том, сколько жизни в неё вложено и насколько чист источник. Делают это как всякое зелье: спору толкут и засыпают в тёплую основу — она держит состав всё то время, пока в него идёт дар. И дар ведут не в спору, а в состав, точно так же, как ты сегодня вёл его в мазь. А потом основа отдаёт своё и уходит: под даром она вскипает и выпаривается вся, до капли, и на дне остаётся сухой порошок. Он и есть ответ. Вышло — порошок ляжет ровный и серый, как хорошая мука. Так и должно быть, и никак иначе. Увидел другой цвет — значит, в руках у тебя не сила, а мусор.

— А если переусердствовать? — совсем тихо спросил Вайрэк, будто боялся собственного вопроса.

— В этом и вся тонкость. — Линус говорил всё медленнее, будто и ему самому было тяжело. — Ведёшь поток ровно — культура наберёт такую силу, какой в поле у неё никогда не будет, и порошок ляжет ровный и серый. Дашь слишком много, поспешишь — дар выжжет её изнутри, и она погибнет, так и не набрав силы; такой порошок выходит светлый, почти белый, и рассыпается от одного дыхания. Дашь слишком мало или неровно — культура выживет, но силы не возьмёт: останется живой и пустой, не сильнее прежней, и порошок будет всё тот же бурый, каким ты его засыпал. И второй раз её уже не поднять: раз побывала в основе — считай, отработала, и годна только на выброс. Годится только одна ровная, точная доля. Всё

остальное — либо гибель культуры, либо живая, но совершенно бессильная спора. — Он вытер ладонью испарину со лба. — А если культура погибла, вся работа впустую: мёртвую спору магией Жизни уже не поднять. Жизнь отвечает только живому, а для мёртвого зерна она — глухая стена. Такую остаётся выбросить и начать заново, со свежей.

Вайрэк слушал, не шевелясь, и запоминал каждое слово, как запоминают молитву. Линус принял это молчание за страх и заговорил тише.

— Дар усиливает в ней не живучесть, а само действующее начало — яд. Чем ровнее ведёшь поток, тем выше концентрация яда, тем меньше нужна доза и тем быстрее она действует. В этом всё мастерство целителя — и весь его риск. Одна и та же усиленная культура, отмеренная точно, продержит человека в горячке два дня, а на третий отпустит. Чуть превысишь — не отпустит вовсе. Вся разница в считанных крупницах: малая доза — недомогание, больше — уже угроза жизни, а полная мера, принятая натошак... — Он не договорил и потёр лицо ладонью. — Тогда окна почти не остаётся.

Где-то под рёбрами у Вайрэка шевельнулось знакомое — не страх, а ровный холодный интерес, с каким он смотрел, как действуют на старика его слёзы. Оно поднялось само и потянулось к каждому слову жадно, как тянется к огню озябшая рука. Вайрэк опустил глаза в стол, чтобы Линус не разглядел в них ничего, кроме положенного испуга.

*«Не новый яд. Тот же — только рассчитывать иначе. Слабее — чтобы свалить и отпустить. Сильнее — чтобы не отпустить».*

— А бывает так, что даже вы не успели бы? — спросил Вайрэк. — Что человек ещё за столом, а лекаря звать уже поздно?

Линус долго молчал.

— Бывает, — сказал он тяжело. — Есть яды, что поражают не желудок, а сразу дыхание и сердце. Их с болезнью не спутаешь: они убивают за считанные вдохи, и, пока за лекарем пошлют, помогать уже некому. Поэтому их и держат под замком, и детей к ним не допускают. — Он покосился на высокий шкаф у себя за спиной. — Всё, что по-настоящему опасно, — там, за стеклом. Не потому, что тайна. Потому что беда.

*«Быстрое — чтобы не успели. Медленное — чтобы сошло за хворь. Обе дороги ведут в одно».*

Он спрашивал ещё — почтительно, с оглядкой, всё тем же тихим «а если», за которым Линусу слышался один напуганный ребёнок. И наставник отвечал: что даже верное противоядие обернётся пустой водой, если спутать порядок или опоздать хоть на шаг; что отравление тем и страшно, что рядится под болезнь, и распознает его лишь тот, кто заранее знает, что ищет.

— И весь наш порядок держится на дыхании состава, — сказал он под конец, совсем тихо. — Алкагест Дыхания. Хоть он и собран из того, что найдётся у любого целителя Альтэрии, и потому прост на вид, но обманчив в деле. Основа — мякоть Алоэ-целителя с южных полей: она обволакивает изнутри тонкой плёнкой и не пускает яд глубже. Только плёнка эта держится недолго — минут пять, не дольше; сойдёт — и ты снова открыт. Держит эту плёнку слизь Золотого Угря из наших рек, — без неё состав свернётся раньше времени. Но сила Алкагеста не в самих снадобьях, а в порядке: сначала одно, выждать, потом другое, и паузы важнее, чем количество веществ. Тем же знанием и в том же порядке, каким целитель обезвреживает яд, его можно и составить. Вся разница — в одном вдохе. Поэтому целитель и обязан сомневаться на каждом шаге: за спиной у него всегда обе дороги.

Он выговорил это как предостережение самому себе. Ему и в голову не пришло, что говорит не с тем, кому оно только во спасение.

А Вайрэк слушал.

И пока старик говорил, звуки лаборатории отступили — звон стекла, шорох дождя, собственное дыхание, — будто их прикрыли ладонью, и осталась одна тонкая звенящая тишина. В ней услышанное сложилось само собой — не один способ, а несколько, ровными рядами,

как склянки на полке: усилить культуру даром, чтобы хватило и малой доли; растянуть, чтобы сошло за долгую болезнь; ударить по дыханию, чтобы не успел никто; а можно и тоньше — отмерить так, чтобы подвести к самому краю и там удержать, у порога, и после отпустить или не отпустить, как решишь. Захочешь — закроешь окно наглухо, спутав тот самый вдох; захочешь — оставишь узкую щель, ровно на один спасительный шаг. То, чем яд обезвреживают, вернее всего его и составляют.

Мысль вышла стройной и законченной — будто всегда была готова и только ждала, когда он до неё дойдёт. Знание было Линуса, но вывод сложился в тишине сам и не вызвал ни удивления, ни сомнения. Тишина заострила его — и отступила так же незаметно, как пришла.

Для Линуса это была исповедь.

Для Вайрэка — не одна карта, а все дороги разом.

Стекло в шкафу тихо звенело всякий раз, когда в коридоре проходили надзиратели. Когда за окном потемнело и где-то далеко прозвучал вечерний колокол, Вайрэк его услышал и не встал.

Линус тоже не встал.

## Глава 4. Расходящиеся решения

За Ирвудом пришли после отбоя.

Он слышал шаги раньше, чем скрипнула дверь, и уже сидел на краю кровати. Лео сопел в своём углу. Кровать Вайрэка была пуста и застелена.

— Идём, — сказал Каэлан от двери.

Шли знакомым путём — коридором мимо зала для приёма пищи, мимо лаборатории. Под её дверью лежала полоска света. Ирвуд заметил её и не подумал ничего: у Линуса часто горела лампа по ночам.

Зал встретил их тем же белым светом единственного фонаря. Пыль смели, осколки унесли; пол был чист, будто утром здесь ничего не было.

Началось всё как обычно: дыхание, стойка, первые повторы. За семь периодов тело выучило это наизусть и знало всё наперёд: где будет тяжело, где отпустит, где надо просто терпеть.

Когда рубаха прилипла к спине, а в голове ещё было ясно, Каэлан заговорил — ровно, как говорят о стойке. Мыслей он не читал; он читал людей. Не прерывая занятия, он обошёл мальчишку по кругу — раз, другой, — и читал его, как читают чужую стойку перед схваткой: напряжение в плечах, сбитое дыхание, сжатые добела кулаки и то, как он держал в себе ярость. Этого было достаточно, чтобы понять, куда она рано или поздно выведет двоих детей, у которых отняли третьего. Он искал в глухой обороне дикаря одну-единственную трещину — и нашёл её.

— Скажи мне одно. Лэя хотела бы, чтобы ты и твой аристократ стали убийцами?

Ирвуд выпрямился так резко, что в глазах потемнело.

— Вы ничего не знаете.

— Я спросил не об этом.

В зале было так тихо, что слышно было, как собственное дыхание отскакивает от чёрных стен.

Ирвуд хотел ответить сразу. Ответ был готов и лежал близко, как камень в кармане: она бы хотела, чтобы Феодор сдох. Но он вспомнил, как Лэя плакала из-за Ночки — их чёрной кошки с чердака. Плакала так, что было слышно даже сквозь стену.

— Нет, — сказал он наконец. — Но это не значит, что он будет жить.

— Разница есть, — сказал Каэлан. — Между тем, чтобы взыскать с человека, и тем, чтобы прийти к спящему в темноте и сделать так, чтобы никто не узнал. Первое ты можешь сказать вслух. Второе — нет.

Ирвуд открыл рот и не нашёл что возразить.

Это было противнее всего. Не то, что сказал Каэлан, а то, что это оказалось его собственной мыслью. В труппах били в спину. Так делали все — крысы, что подбираются к спящему в темноте. Он рос среди них и должен был стать таким же. Не стал. Со спины он не ударил ни разу — что-то внутри не пускало, а что, он и сам не знал. И крыс ненавидел больше всего на свете.

— Хорошо, — сказал Каэлан, посмотрев на него. — Но ярость всё ещё в тебе. Её надо выжечь.

Каэлан отступил к дальней стене и растворился в тени — там, куда не доставал белый свет фонаря. Голос пришёл уже оттуда, ровный и бесцветный:

— Поставь нить. И держи. Посмотрим, чему ты за это время выучился.

Он сказал это так, будто заранее знал ответ — и не ждал многого.

Ирвуд вытянул перед собой руки. Свёл влагу из воздуха между кончиками пальцев, и та с тихим звоном затвердела в тонкую, едва видимую струну чистого льда. Струна дрожала.

Стоило дыханию сбиться, и она истончалась, грозя порваться; приходилось снова стягивать всю волю в одну точку, до рези в висках, чтобы удержаться.

Держать он умел. Это Каэлан вбивал в него семь периодов подряд — не бить, а вести: ловить поток снаружи и пропускать через себя ровно, без спешки. Русло у Ирвуда было шире, чем у всех в зале; ещё утром его камень седел дольше и ровнее любого чужого — пока не сорвался. Каэлан это видел. На это и рассчитывал.

Он держал нить. Секунду. Две.

Каэлан атаковал без предупреждения.

Инстинкт сработал быстрее мысли. Ирвуд качнулся вбок, не разрывая связи с нитью, и злость плеснула сама, из самого нутра. Дар отозвался на неё мгновенно: струна затвердела, вытянулась в шип, острый, как игла, и со злым свистом метнулась Каэлану в грудь. Тот ушёл с линии одним скупым движением, и шип раскрошился о чёрную стену. Но ярость не отпускала — Ирвуд ударил следом, коротко и наотмашь, не целясь: влага между пальцами застыла новым шипом и рванулась туда, где Каэлан только что оказался. Тому пришлось вскинуть руку. Воздух перед его ладонью пошёл мерцающей рябью, и шип встретил барьер с высоким хрустальным звоном и осыпался колючей крупой.

Каэлан обернулся. В его глазах впервые мелькнуло что-то живое — не похвала, а холодный интерес охотника, который увидел, что зверь и вправду опасен. Рука его сама поднялась к вороту и на один удар сердца коснулась знака Ока — будто проверяя, на месте ли он, — и опустилась прежде, чем он успел это заметить. И этот интерес, и это движение он тут же спрятал под привычной ровностью.

— И это всё? — спросил он, будто и не было шипа у самого горла. — Один раз попал — и доволен. Семь периодов, а бьёшь всё так же: только когда тебя разозлят. Ничему не научился.

Он не кричал и не злился. Он говорил тихо и ровно, и каждое слово ложилось точно туда, где у Ирвуда было тоньше всего. Ирвуд знал, что его ведут, как рыбу на крючке. И всё равно шёл. Ему не нужны были мелкие уколы. Он хотел ударить так, чтобы этот ровный голос наконец замолчал.

Он потянул к себе весь холод, какой был в зале, — как утром, когда стены взялись инеем в человеческий рост. Русло открылось широко. Между ладоней начало расти не тонкое лезвие, а целый веер льда: десяток игл разом, одна длиннее другой. Он держал их все, до единой, чувствовал каждую остриём воли — этого он раньше не умел. Он мог. Он и вправду мог больше.

Только на это нужно было время. Пока веер набирал силу, Ирвуд врос в пол — весь ушёл в плетение, боялся сбить дыхание, не мог сойти с места ни на шаг.

Каэлан не стал ждать, пока он закончит.

Он просто пошёл вперёд — ровно, не спеша, как идут через пустой двор. Ирвуд сорвал веер с себя раньше времени, недоплетённым, и десяток игл ушёл в него свистящей стеной. Каэлан вскинул обе руки; мерцающая рябь встала перед ним, приняла залп частым злым звоном — и рассыпалась. Но Каэлан был уже за ней. Барьер ещё осыпался крупой, а его ладонь легла Ирвуду на грудь и толкнула — коротко, точно. Ирвуд, так и не сошедший с места, полетел спиной на камень.

— И этим ты хотел меня достать? — сказал Каэлан сверху — без насмешки, буднично, как говорят о пустяке, не стоящем внимания. — Красиво. Медленно. Пусто. Вставай.

Он отвернулся первым, будто уже всё видел и заранее заскучал. Это било вернее любого удара.

Ирвуд встал. Раз большое и медленное не проходит — он попробовал наоборот: бить быстро, как Каэлан. Не выводить сперва нить, а лепить шип сразу, из голого воздуха, одним рывком — не копя и не напитывая.

Выходило пусто. На такой короткий рывок силы почти не уходило, и лёд получался жидкий, ненастоящий: шип срывался с пальцев недоросшим и таял на лету, не долетев. А если и

долетал — не доставал: Каэлана на его пути уже не было. Тот успевал сойти с линии одним скупым шагом, и шип уходил в пустоту, в чёрную стену за спиной.

Стоило вложить чуть больше — и плетению сразу нужно было время. Совсем немного: лишний удар сердца, полвздоха. Но и этого Каэлану хватало. Он оказывался рядом раньше, чем лёд успевал затвердеть. Ладонь толкала Ирвуда в плечо, носок сапога цеплял под колено, открытая рука входила в грудь — не в полную силу, ровно чтобы сбить с ног и смять то, что он не успел дотрести.

Быстро — слабо. Сильно — медленно. И то и другое кончалось им на полу.

— Ещё, — ровно говорил Каэлан, всякий раз поднимая его на ноги одним взглядом, чтобы снова сбить. — Слабо. Пусто. Ты и вправду решил, что чему-то научился?

Он ни разу не повысил голоса и ни разу не вышел из себя. Он выводил из себя — спокойно и точно, зная наперёд, куда ударить, чтобы стало больнее всего. Ирвуд слышал это и всё равно вскидывался на каждое слово, как на пощёчину.

На улице всё решала злость и первый удар. Здесь злость была только топливом, и её было мало, а первым всегда бил Каэлан. Он был везде на шаг раньше — там, где Ирвуд только собирался оказаться.

*«Северянин — это буря, — всплыло само собой, из ниоткуда. — Каэлан — клинок. От бури можно спрятаться. От клинка нет.»*

Дальше счёт пропал. Осталась одна механика: подняться, поймать поток, поставить нить, сорваться, упасть, встать опять. Мышцы налились чужой тяжестью, будто под кожу залили свинец, и каждый вдох отдавал железом. Лёд перестал слушаться пальцев — срывался с них мокрой крошкой, не успев затвердеть. А Каэлан бил не наотмашь и не в полную силу: ровно и точно, в одно и то же — под колено, в плечо, открытой ладонью в грудь, раз за разом отнимая у тела опору, не давая устоять. Ирвуд поднимался на дрожащих руках, сплёвывал на камень тёплое и солёное, снова ловил поток, ставил нить — и снова оказывался на полу. Осколки льда чиркали по чёрным стенам и гасли, не оставив следа. Пол под ногами затянуло инеем. Дыхание пошло белым рваным паром. Ту злость, что он копил и берёг всю жизнь, Каэлан вытягивал из него удар за ударом — толчками, как отсасывают яд из раны. Каждый следующий шип выходил тоньше и короче. Нить рвалась всё раньше.

А потом порвалось не в руках, а внутри.

Он перестал плести. Перестал вести, тянуть, держать — всё, чему его учили. Это было не заклинание: заклинание надо плести, а на плетение нужно время, которого не осталось. То, что он всю ночь и весь день сжимал в кулак, разжалось разом — и русло распахнулось шире, чем он мог удержать. Сила пошла сквозь него сама, как утром над расколотым камнем, — не струйкой, а всей рекой: без формы, без имени, без цели. Не игла и не веер — просто всё, что в нём было, и сверх того, разом наружу.

Воздух в зале натянулся, как струна, и лопнул.

На один удар сердца всё замерло — звенящая, стеклянная тишина, какая бывает перед тем, как треснет лёд. А потом холод хлынул от него во все стороны разом, низко и жадно, как вода из прорванной плотины, — не в кого-то, а во всё сразу, без разбора. Пол поседел широким кругом. Иней взлетел по чёрным стенам, обогнал взгляд, дошёл до потолка; фонарь захлебнулся изморозью и притух. Сам воздух застыл белой мглой, и дышать стало нечем. Такой мороз выстудил бы лёгкие с первого вдоха и свалил замертво любого в этом зале. Ирвуду тоже резало грудь, уши, зубы — но его тело, будто помимо воли, упрямо продолжало дышать этим льдом и не сдавалось. Зал за один вздох выстудило так, что где-то в глубине камня пошёл сухой треск.

Каэлана на его месте уже не было.

Он ушёл в последний, невозможный миг — не отступил, а стёк прочь, как вода, за грань расходящегося круга. И всё же не начисто: Ирвуд успел увидеть, как седой иней лизнул полу

его плаща и осыпался с края белым крошевом. Ещё бы полшага — и холод взял бы его вместе со всем залом.

А потом ноги ушли из-под него.

Не Каэлан сбил его — сбило то, что он выпустил. Распахнутое настезь русло схлопнулось разом и вытянуло из него всё, до последней капли. Зал качнулся, белый свет фонаря растёкся в глазах мутным пятном, и Ирвуд повалился — не как падают от удара, а как оседает подрубленное: мягко, без звука, лицом вперёд.

Он не почувствовал, как его подхватили.

Просто камень не ударил в лицо, как должен был. Что-то поймало его на полпути — рука поперёк груди, другая под плечом — и повело вниз медленно, придержав затылок, чтобы он не приложился о промёрзший пол.

Каэлан был уже рядом. Не за спиной, не в двух шагах — тут, на одном колене, склонившись над ним, и в лице у него не осталось ни ровности, ни скуки. Он держал мальчишку за плечи и коротко, жёстко тряхнул — раз, другой.

— Эй. Смотри на меня.

Голос был не тот, каким он говорил весь бой. В нём впервые прорвалось живое — не испуг, а резкий, жадный интерес: так хватаются за то, что вот-вот выскользнет из рук и разобьётся, и чему не будет замены.

Ирвуд плыл. Слова доходили с запозданием, будто сквозь воду. Он попробовал сказать, что жив, — вышел один пар.

Ладонь прошла по его груди, потом жёстко — вдоль рук, от плеча к запястью, ощупывая, будто искала то, чего быть не должно. Каэлан знал, что бывает с тем, кто вот так, без формы, пропускает через себя больше, чем в силах удержать: русло рвёт изнутри, и после такого не поднимаются. Он искал этот надлом — и не находил. Ни ожога, ни сорванных жил, ничего. Только выпитого до дна мальчишку, который всё-таки дышал.

Вот тогда по его лицу и прошло то самое — короткое, почти против воли: не удивление даже и уж точно не испуг, а холодный, жадный интерес человека, которому в руки попало то, чему он не знал ни меры, ни цены. По всему, что он знал о даре и его пределах, мальчишка должен был выгореть дотла. Мальчишка не выгорел — и этому Каэлан пока не находил объяснения.

Он спрятал это, быстро и привычно. Но в этот раз опоздал на целый удар сердца, и Ирвуд, даже такой, успел заметить.

Каэлан опустил его на камень. Ладонь на плече мальчишки задержалась чуть дольше нужного — так взвешивают в руке находку, ещё не веря, что она настоящая. Потом он разжал пальцы и поднялся. Поднимаясь, он на миг тронул знак Ока у ворота — коротко, не глядя, как трогают то, что всегда носят при себе и о чём не думают. Он и сам не заметил этого движения; когда рука опустилась, на лицо уже вернулась привычная ровная скука.

— Хватит, — сказал он.

Он не подал руки и не сказал доброго слова. Он повернулся и пошёл к двери, и шаги были такие же ровные, как в начале.

— Как сможешь встать — иди к себе, — бросил он, не оборачиваясь.

Тяжёлая дверь затворилась. Фонарь остался гореть.

Ирвуд лежал один посреди пустого зала, под белым светом единственного фонаря, и слушал, как шаги стихают в коридоре. Встать он не мог. Он и не пробовал пока — просто дышал и ждал, когда тело снова согласится его слушаться.

Оно согласилось не скоро.

О поединке он не думал — ни о нём, ни о том, что было под конец, как его подхватили и трясли за плечи. На мысли не осталось сил. Осталось только тело, чужое и тяжёлое, и его надо было заставить работать по частям. Сначала пальцы: он сжал и разжал их на камне. Потом

руки. Он перевалился на бок, упёрся ладонями в камень и поднялся на четвереньки, постоял так, свесив голову, пока зал не перестал качаться. Держаться было не за что — он стоял посреди пустого зала, и до ближней стены оставалось несколько шагов голого пола. Он прошёл их сам, шатаясь, и только там привалился плечом к камню. Стена была холодной, но всё равно теплее, чем он сам.

Внутри было пусто и гулко, как в комнате, из которой вынесли всё до последней щепки. Холод, который весь вечер стоял вокруг и ждал, когда его пропустят, ушёл. Впервые за долгое время его не тянуло никуда — просто нечем было тянуть.

Он не шёл. Стоял, привалившись плечом к стене, и ждал непонятно чего; идти всё равно было тяжело, а спешить было некуда.

И тогда к нему стало возвращаться то, на что раньше не хватало сил, — медленно, кусками, как возвращалось и тело.

Сначала пришло утро. Ладони, примёрзшие к камню и содранные с кожей. Красная черта на щеке девочки. Кровь Вайрэка, толчками уходящая ему в рукав. Потом — то, что было только что: пустой зал, один Каэлан, который в последний миг стёк со своего места, как вода. Ещё бы полшага. Эту мысль Ирвуд не додумал. Не хотелось.

Он ждал, что станет страшно, как утром, когда затряслись руки. Или стыдно. Но не было ни того ни другого — не было вообще ничего. Ту злость, что он таскал в себе с самой улицы, что весь день держала его на ногах, Каэлан вытянул досуха. И на её месте не осталось даже холода. Впервые, сколько он себя помнил, внутри было просто тихо. И от этой тишины было хуже, чем от злости.

Потом он подумал о Лэе — осторожно, как трогают ушибленное место. Мысль не обожгла: она лежала где-то далеко, за пустотой, и до неё было не дотянуться. Завтра, наверное, вернётся и она, и злость, и всё остальное. Но не сегодня. Сегодня в нём не осталось, чем всё это встретить.

Он оттолкнулся от стены.

Дорогу до комнаты он помнил кусками: холодная стена под ладонью, угол, ещё угол, тёмная щель под дверью лаборатории — там уже не горело.

Дверь в их комнату оказалась тяжелее, чем утром.

Ирвуд отвёл её плечом и ухватился за косяк. Постоял. В комнате было темно и пахло ночным теплом чужого сна.

Шесть шагов до кровати. Он прошёл их, считая, потому что счёт был единственным, что ещё держалось в голове. На последнем колени согнулись сами, и он упал поверх постели, как был, в мокрой рубашке и ботинках.

Лео сопел у стены, отвернувшись.

Потолок медленно поворачивался. Сердце било где-то в горле, и каждый вдох проходил с трудом, будто воздух стал гуще.

Из темноты справа раздалось:

— Ты жив?

Голос был совсем трезвый. Вайрэк не спал и даже не лежал, судя по звуку, — сидел.

Ирвуд попытался ответить. Из горла вышел только хрип.

В темноте шевельнулась ткань.

— Хорошо, — сказал Вайрэк. — Потому что я знаю, как заставить Феодора заплатить. Линус рассказал мне всё.



## Гл

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.